

## Пролог

Все наше счастье из детства. Даже если оно, это твоё счастье огромное, ждёт тебя в будущем, всё равно ничто с тем, детским счастьем, не сравнится. Вероятно, это основа, мудро заложенная природой, на которую потом спокойно может наслаиваться всё: обиды, измены, глупости, гадости, страсти – но счастливая эта детская «подушка», довольно весомая и могучая, не даёт раствориться и пропасть. В таких особых ситуациях мысли уходят в те чуть подзабытые воспоминания, когда все твои родные ещё живы, молоды и беспечны, когда нет у тебя никаких забот, а по утрам тебя ждёт бутерброд на завтрак из только что купленного белого хлеба с настоящей докторской колбасой (по ГОСТу!) и какао «Золотой ярлык», любовно приготовленные бабушкой. Или городская булочка за 7 копеек без изюма, хотя я больше любила с изюмом, называлась она почему-то калорийной и стоила уже 9 копеек, помните? Хотя калорий тогда никто и не считал. Изюминки были похожи на жучков, и я считала, сколько жучков досталось моей булочке. И кстати, тогда была не булочная, а булошная...

Мой первый адрес детства: Поварская, 52, тогда ещё улица Воровского. Вот что написано в одной умной книге по архитектуре про наш двор:

«Огромная классическая усадьба с обширным, сложной (приближенной к овалу) формы двором, со всех сторон окруженным низкими одноэтажными служебными постройками и двухэтажными жилыми флигелями, соединенными проездными арками. Главный дом – двухэтажный с мезонином, имеет торжественную пятичастную композицию. Его боковые ризалиты оформлены по сторонам спаренными дорическими колоннами, поддерживающими выступающий вперед карниз с аттиком. Эти боковые части соединены с центральной небольшими террасными переходами на уровне второго этажа, украшенными тонкой кованой решеткой ограждения. Центр выделен мезонином под фронтоном с крупной геральдической композицией (в центре тимпана фронтона гербы родов Боде и Колычевых), поддерживаемым шестиколонным коринфским портиком. Интересна простая, но милая в своей доморощенности архитектурная обработка флигелей».

Как сухо, по-деловому и не совсем понятно о моем родном дворе, о таком красивом, удивительном месте! Доморощенная... Ничего она не доморощенная, обработка эта! А самая что ни на есть та! И всё во мне сразу восстает против такого описания – там всё по-другому, правда!

И сразу волшебные, обволакивающие воспоминания: я, совсем ещё мелкая, около трех, наверное, бегу (мимо шестиколонного коринфского портика) к папе, огромному, заслоняющему солнце, и он садится на корточки, чтобы мы оказались с ним на одном уровне, чтобы глаза в глаза, и он поднимает меня и подкидывает высоко-высоко, до облаков, а потом ставит на землю и показывает какие-то масляные железяки, обернутые коричневой бумагой. «Что это?» – спрашиваю. – «Велосипед, – отвечает, – трехколесный, тебе же скоро три». – «А потом будет четырехколесный, – спрашиваю, – и пяти? А у тебя сколькоколесный велосипед?» Мы смеемся и долго с ним обдираем новый велик, снимая вонючую промасленную бумагу. Потом папа катает меня, согнувшись в три погибели, вокруг бронзового дядьки, который сидит на бронзовом постаменте, держит в руках бронзовую книгу и морщит свой бронзовый лоб. Звали его Дед Толстой – так мне тогда казалось. Я этого дядьку не любила, но мама рассказывала мне, что он писал длинные истории иногда про войну, иногда про мир и что у него была очень терпеливая жена, которая помимо того, что постоянно рожала ему детей, ещё и переписывала по многу раз

все его длинные истории. А потом ему все это надоело, он разулся, ушел из дому в народ, заболел и помер. И ему поставили почему-то у нас во дворе памятник. На нем все время сидели голуби и какали ему на голову. Мне это не нравилось.

## ПОДВАЛ.

Воспоминания того подвала на Поварской очень отрывочны, я совсем тогда была крохой.

Помню наш микроскопический дворик прямо у входа в подвал, довольно мусорный и некрасивый физалис – «китайские фонарики», как звала его бабушка, – и высоченные, почти до неба, золотые шары около пузатого сарая с добром. Мне он казался именно пузатым, потому что из окон выпирали какие-то тюки с тряпьем, округлые, разноцветные, пропахшие чужой жизнью, плесенью и затхлостью. В сарай тот меня ни разу не впускали, – видимо, боялись, что может обрушиться гора из древних просиженных стульев, которые в комнату не помещались, а выкинуть их было жалко, да и требовались они часто, когда приходили гости. У сарая – деревянная лавчонка на одну задницу, а вместо спинки – окно, за которым связки старых, еще довоенных «Огоньков». Окно всегда по-стариковски покряхтывало, когда баба Поля (на самом деле, не баба, а моя прабаба) высаживалась со мной погулять под льющуюся из радиоприемника любимую песню:

Воскресенье, день веселья.  
Песни слышатся кругом.  
С добрым утром, с добрым утром  
И с хоро-о-ошим днем!

Еще помню скрип лавки и запах сарая. Странно это, как человеческий мозг сортирует воспоминания! Для одних, совершенно незначительных и никчемных, отведено место в самом главном ящичке – хочешь-не хочешь, а постоянно натыкаешься на них, вспоминая не прабабу, а окна сарайные и запах этот снулый. А потом раз и нет его, сгорел.

А для других, наиважнейших, полных событий и значимости, место, может, и есть где-то, но то ли на чердаке, то ли в подвале под завалами истлевших вкусов и ароматов, впечатлений и поступков – поди найди – не отыщешь, да не знаешь, что и искать. А сарай этот никудышный – вот он, перед глазами: зеленая облупившаяся краска на рамах, оконца, где с трещинками, где со сколами, где и вовсе слепые, и дверь, закрывающаяся на огромный загнутый гвоздь. Зачем мне это? Может, это и есть мой сарай воспоминаний, где уже всего навалом, одно на другом, вперемешку, не по правилам, случайно и неосознанно, и прабаба у двери цербером.

Виновата я перед ней очень, мучает всю жизнь вина моя, но об этом в другой раз...

Двор наш был исторический, много разных сказок о нем рассказывали. А может, вовсе и не сказок, а правд. Прабаба Поля с прадедом Яковом поселились там с самого посленэповского времени, в середине двадцатых, когда насовсем переехали из Саратова в Москву.

Их вызвал младший сын, Ароша, Арон Яковлевич, который устроился работать в Клуб писателей по хозяйственной части. Каким-то чудом должность занял важную и хлебную – отправлял писателей в санатории и командировки, оформлял документы, распределял пайки, был главным по всему писательскому хозяйству. Делал это честно, не воруя, что во все времена было редкостью, и за это его уважали и ценили.

Вот и дали ему комнату в подвале Соллогубовской усадьбы рядом с Клубом писателей, чтоб далеко не ходил и был всегда при работе, а правильнее сказать, под рукой. А через пару лет достойной службы он попросил выделить ему еще одну

комнатенку для родителей, благо она только что освободилась: сосед, женившись, съехал в отдельную квартиру. Ароше пошли навстречу, дали жилплощадь в том же подвале круглого двора на Поварской, которую к тому времени переименовали в улицу Воровского.

Круглым двор наш стал не сразу, застраивался постепенно, почти весь девятнадцатый век, пока, наконец, уже к началу двадцатого не округлил совсем и не закрылся резной железной решеткой со спиральным рисунком, отвоевав нужную ему территорию. Вроде как заграбастал территорию и замкнул руки. По обе стороны от ворот изначально располагались службы, каретные сараи, конюшни и всякие другие мастерские. Все они были одноэтажными, с широкими въездами со двора. Но потом, когда надобность в лошадях, и тем более, в каретах, отпала, их перестроили под конурки для людей с длинной коридорной системой по обеим крыльям, выходящим на Поварскую. Комнатки хоть и были маленькими, как купе в поезде, нарезанными наугад, но выходили прямо на улицу и нередко освещались солнцем в отличие от подвалов, где в избытке жили люди внутри двора по всей его окружности. Двор вмещал намного больше жильцов, чем казалось на первый взгляд. С улицы, если стоять за воротами, совершенно не было видно целой системы арочных проходов и двориков, входов и дверей, тупиков и муравьиных троп, переходов и закоулочков, которые обрамляли наш большой круглый двор. Народу там жило, дай боже, разных мастей и сословий, национальностей и вероисповеданий, профессий и судеб, вот так волею случая собранных в одном месте под защитой больших кованых ворот нашего двора на Поварской. Под каждым окном обязательно что-то зеленело, но по желанию: у кого конский щавель и крапива, у кого георгины с гладиолусами, у кого лук-чеснок. Бывали даже жасмин, сирень и шиповник, благоухающий половину лета на весь двор. Красиво было, свежо и тенисто. Птицы жили, вёснами пели, даже ласточки залетали и вили гнезда за колоннами хозяйского дома. Чирикали себе всякие, сидя на ветках хорошо разросшихся лип, которые были посажены еще в конце девятнадцатого века. Тогда всю Поварскую-Воровскую засадили липами, и дворник зорко следил, чтобы к неокрепшим еще деревьям у забора усадьбы никто никакой скотину не привязывал, веток не рвал, и даже угловую липу, выходящую на деревню Кудрино и подверженную всяким случайностям, огородил штакетником.

Вот прабаба Поля моя с дедом Яковом по сыновьему вызову и въехали в усадьбу. Красиво звучит – въехали в усадьбу! Вселились в подвал! Вход в наш подвал был из маленького дровяного дворика с калиткой, через которую сгружали дрова. Он так официально и назывался – дровяной дворик. Раз в неделю подъезжала подвода и не со стороны Поварской, а сбоку, через внутренний двор имения Олсуфьевых или Соллогубов, (по фамилии владельцев в разные времена). Калитку по сигналу открывали и разгружались. Около входа всегда было навалено поленьев. Их никто не складывал, поскольку они быстро распределялись по семьям (буржуйки тогда жили в каждой комнате), но выглядел из-за этого наш маленький дворик как-то неуютно и неухоженно. Потом построили сарай, и дрова стали складывать туда вместе со всем барахлом, а для сидения-общения перед сараем построили беседку из белого штакетника с зеленой крышей, которую быстро окутал девичий виноград.

Разместили разросшуюся семью сначала в двух комнатах подземной коммуналки, рассчитанной всего на четыре семьи. Четыре семьи – это почти отдельная квартира, в остальных подвалах жило по десять семей! С уровня земли шла кривенькая и довольно крутая лесенка вниз, в коридор, в темноту, на ступенек 7–8 в подпол. Как въехали, Поля с Яшей начали спор, очень долго потом не прекращавшийся – подвал это или полуподвал. Поля говорила, что полуподвал (ей так было морально легче там жить после их отдельного чудесного и солнечного саратовского домика), Яков же был уверен, что это обычный подвал, никакой не полу.

– Ну окна же есть, – не унималась Поля, – значит, полуподвал, в подвале окошек быть не может!

– Окошки-то с приямком, под землей то есть. Были бы над землей, был бы полуподвал! – выстраивал логическое объяснение Яков.

Так и было: оконца обеих комнаток находились под самым потолком, – солнце комнату не освещало никогда, из видимости в окно – одна глина, уходящая вверх, к уровню земли – «культурный слой», как Поля называла этот шикарный вид. Узкая рама редко когда открывалась – куда ее было открывать? Разве что форточку можно было распахнуть, но летом в нее летела пыль со двора, а зимой засыпало снегом. Одна комнатка ютила родителей, Полю и Якова, совсем махонькая, тоже, как и многие, похожая на купе в поезде – два сколоченных топчана с матрасами, да стол между ними. Другая, большая, 20-метровая и двухуровневая, со ступенькой, Арошина, где отгородили угол для сестры Лидки, моей бабушки. А дальше соседи налево-направо. В конце длинного и совсем теменького коридора находилась кухня и вечно шумела ванна, сначала с дровяной печкой, а потом с газовой горелкой, а рядом – страшный сортир буквой [Г], куда и зайти было боязно. Как только Поля не пыталась бороться с влагой и слизью, которая появлялась волшебным образом из ничего и стекала по зеленым кафельным стенкам – все без толку. Иногда ей казалось, что это какое-то живое существо, которое обволакивает комнатенку склизким коконом, словно собирается выродить там незнамо что. И всегда после тщательной уборки туалета или просто после его посещения, она плотно прикрывала дверь и запирала его на крючок со стороны коридора. На всякий случай.

## СОСЕДИ ПО ПОДВАЛУ

Соседями нашей только что въехавшей и не успевшей еще разрастись семьи оказались люди вполне интеллигентные, хоть и малообщительные – семья учителей с сыном, жившая налево по коридору зрелая проститутка, любовница самого Мате Залки, жившая направо.

В самом дальнем конце коридора напротив кухни была маленькая узкая дверь, можно было подумать, что в шкаф, но вела она в две комнаты учителей Печенкиных – Сергея с Серафимой – и их великовозрастного сына Степана. Если все остальные люди произошли от обезьян, то конкретно эти – от морских коньков. Невозможно было объяснить, как Сергей и Серафима нашли друг друга в огромном мире лунолицых людей. В фас их почти видно не было, только в профиль. Особенной остротой отличалась Фима. Когда она быстро шла по двору, ее горбоватый нос рассекал воздух с чуть слышным свистом. Глаза смотрели по сторонам, а чтобы ни на что не налететь, ей приходилось чуть поворачивать голову. «Увидеть хоть одним глазком» – эту поговорку придумали именно про нее. Щеки были настолько впалыми, что казалось, соприкасались изнутри. Она не пыталась даже чуть изменить себя стрижкой, привыкнув с детства затягивать волосы в хвост, который с годами превратился в пучок. Аккуратно-аккуратно, волосок к волоску, гладенько-гладенько, даже без челочки, чтобы удивительной формы череп ее был виден во всей красе. Он несомненно стал бы артефактом Кунсткамеры, живи Фима в петровские времена. При этом на дуру она абсолютно не походила. Совсем наоборот, отличалась острым языком и блистала остроумием – собственно, всё, связанное с ней, было острым. И муж тоже. И если Фима была шатенкой, то Сережа природным блондином, почти альбиносом, со снежными ресницами и бровями и отдающими в слоновую кость волосами.

Оба морских конька были преподавателями математики в разных институтах, а познакомились совершенно случайно, в троллейбусе. Она попросила передать за билетик, он не смог оторвать от нее глаз. «Какая шла, такую встретил», – гордился Сергей, емко выражая одной фразой все свое счастье. У обоих за спиной был уже опыт несовместимой жизни с лунолицыми, но если его брак отличался обычностью и простой тратой жизни, то

Фима очень страдала с женщиной не ее племени. Ее прошлужизненный муж был военный, темпераментно карабкавшийся по карьерной лестнице и совершенно не замечавший свою острую жену. А когда замечал, то ласково звал ее «борзая» с ударением на «а». Но страдания Фимы объяснялись не этим, а отсутствием детей. Встретившись тогда в троллейбусе, Серафима с Сережей поняли, что это настоящее и навсегда, и на первом свидании в тот же вечер после работы вылили друг на друга все то, что копилось у них в мозгах годами и ни разу никому не было произнесено. «Мне начинало уже казаться, что я не люблю женщин», признался Сергей. «Я два раза изменила мужу со штатскими», – покраснела Фима. – «И видимо, математика это не мое призвание. Я химик». – Сережино откровение добило Фиму и она решилась: «А я никак не могу забеременеть...» – «У меня и не такие беременели», – прошептал Сергей. В этот момент Фима так ему поверила! А через девять месяцев родился узкий и востроносый мальчик. Степа был милым, рыжим, любил птиц и огонь. Канарейки у Печенкиных щебетали на обоих окнах и создавали в подземелье приятный лесной фон.

С соседями старались жить дружно. Сергей часто экспериментировал на кухне, ставя химические опыты на продуктах. Коронным блюдом его была окрошка, которая не отличалась сезонностью, а делалась и в жестокие холода, и в промозглую слякоть. Но отличалась исключительным вкусом! За единственным недостатком – ее всегда оказывалось мало, сколько бы продуктов он не шинковал. Начиналось действо за сутки. «Ведь в окрошке главное что? – задавал он риторический вопрос. – Это ж вам не банальный салат с квасом. Главное в окрошке – это химическая обработка продуктов. Самая ядреная горчица и самый злой хрен – основа основ! Одно дело редисочка, огурчики, вареное мяско, лук и всякая крошенная всякота, залитые квасом, и совсем другое – то же самое, но на сутки до заливки, заложенное в ядреный замес тертого хрена, горчицы, перца и сметаны. Это ж две разные разницы! Там же такая химия происходит, такой симбиоз, такой мутуализм, такая ядреная смесь, и получается, практически, иприт! Газовая атака! Финиш! И как крошево насытится хренком с горчичкой, самой опасной горчичкой, я повторяю, так можно и квасом заливать! Лучше, конечно, белым, но где его взять-то? Так знаете, какой я выход нашел? Чайный гриб с легким пивом, четыре части к одной! Не стыдно признаться, это мое гениальное решение! А как освежает и бодрит замечательно! В общем, женитьба на Фимке и идея заливки для окрошки – вот для чего стоило родиться!»

Сергей был восторженным и эмоциональным и как только начинал чему-то бурно радоваться, особенно, когда подавал кому-нибудь добавку окрошки (а потом еще и еще), на бледных его щеках проступал яркий и гордый румянец.

В общем, Печенкины отличались добрым нравом и чистоплотностью, только Степка иногда портил благостную картину своей страстью к поджогам. Родители обычно ругались, учуяв запах горелого, но Степка жег аккуратно и по существу: прошлогодние учебники и тетради, латаные-перелатаные ботинки, когда оторванная в десятый раз подошва оставалась уже где-то в городе, объедки со стола, которые, искрясь жиром, туго плавилась в огне. И когда родичи строго-настрого запретили сыну баловаться с огнем дома, у их окон образовалось маленькое уютное кострище, где Степка перерабатывал материальное в эфемерное. А дома ему только и оставалось, что наблюдать за своими кенарами да мечтательно глядеть на синий язык пламени в колонке ванной комнаты.

И если Печенкины вели норный образ жизни и были вполне тихи и предсказуемы, то соседка направо по коридору была хамлива, безалаберна и пьюща. И сильно гордилась, что была любовницей Мате Залки. Этот знаменитый геройский венгр захаживал к Ираиде Акимовой (все звали ее Ирккой) строго по четвергам. Он служил тогда директором Театра Революции, нынче имени Маяковского, и к 10 вечера появлялся у Ирки, которая по близости и географической, и интимной, его очень устраивала. Ирка каждый раз тщательно готовилась к приходу национального героя, надолго занимала ванную с гудящей от напора колонкой, наводила чистоту и красоту, прятала улики присутствия

других мужчин и открывала бутылочку любимого кагора, хотя считала сладкое питье моветоном. Потом выходила во двор в волочившемся по земле шелковом лиловом халате с золотыми кистями, картинно садилась, вдумчиво раскладывала ткань и высвобождала угловатую коленку. Ждала. Иногда выносила длиннющий модный мундштук и далеко отставляла руку, чтобы было красиво, хотя часто забывала засунуть в мундштук сигарету. Когда с улицы доносился шум Залкинского мотора, Ирка страстно облизывала губы, мяла щеки для появления эротического румянца, щурила глаза, еще раз оглаживала складки халата. А когда мужчина ее мечты подходил ближе, она томно, чуть с трагической ноткой произносила слово «кевдеш» – с немного капризным полусмешком-полувздохом. Поля так и стала называть Иркиных мужиков «кевдышами»: «Кевдыши твои изгадили всю кухню, иди-ка убирай!». Поле эта кличка казалась обидной и унижительной, а на самом деле на венгерском она означала «милый».

Полина с Фимой много раз призывали Ирку к порядку, что некрасиво это, что пример плохой для молодежи, что шумно ночами, ахи-охи, стоны, крики и безобразия, что туалет вечно зассан чужими мужиками (свои-то стараются, попадают!), что на кухне грязь и окурки, а это места общего пользования, – короче, упрашивали, грозили, ставили на вид... Нет, ничего не помогало, ответ был один: «Вот именно, у вас семьи, а я, может, ищу того единственного! А как взять, не попробовав? Считайте, что я надомница, беру работу на дом!» и она начинала озорно хохотать, не собираясь откладывать жизнь на пропотом. Но чаще соседок недвусмысленно посылая своей любимой поговоркой: «Привет вам от трех лиц: от х... я и двух яиц». При детях, конечно, не отваживалась произносить такое целиком, но если вдруг на кухне из-за нее было не убрано, и грозил начаться скандальчик местного значения, то Ирка победно и с вызовом, поправляя боевые химические кудри и глядя Поле прямо в глаза, проговаривала: «Привет вам от трех лиц! И знайте: для нас, интеллигентов, запретных слов нет!» Поля безумно возмущалась, когда слышала подобное – так активно выражаться в семье никогда принято не было и единственное, чем она могла ответить – «Куш ин тохас» («Поцелуй меня в жопу!»). И то произносила это ругательство только на иностранном еврейском языке, но с таким выражением, что таки да, оно звучало – магически и торжественно, как гром с небес!

Самые страстные и ожесточенные бои шли за телефон, который висел в темном коридоре совсем недавно – по указу самого Фадеева, чтобы Арон Яковлевич мог всегда ответить. Телефон был черный, эбонитовый («эбонитовый» – как нарочно называла его Ирка), вытянутый по стене с заезженным циферблатом и гордым металлическим рычажком, похожим на оленьи рога. Вокруг телефона стенка сплошь была записана разными номерами и именами, по образу телефонной книжки: Дина Дурбин Д24612, Василий Петрович ЛОР Г23815, Дора овощи Д-27763, Нинка Галантерея Б-15989 – и еще много всяких наскальных доисторических надписей и номеров, но главным и самым крупным номером был наш, торжественно написанный на самом верху: ДЛЯ ПАМЯТИ – МЫ – Д-22783.

К низу телефона был привязан химический карандаш для срочных записей. Он мусолился всеми жителями подвала, если вдруг надо было записать на стене чей-то номер, пока вдруг Полю не осенило, что Ирка тоже ведь его берет в рот, а в рот она брала не только этот маленький карандашный огрызок. Поля аж вся похолодела от ужаса и брезгливости, как только осознала это, мигом его сорвала и выкинула, а на его место повесила простой длинный ученический карандаш. Но это страшное открытие стоило Поле многих бессонных ночей, она все ворочалась, тарасилась в темноту, а если наконец засыпала, ей снилась Ирка с огромным химическим карандашом во рту, которая мерзенько лыбилась и из-под карандаша по подбородку у Ирки текла ядовитая фиолетовая слюна. Ночной кошмар. Поля страдала, прислушивалась к себе, к незнакомым ощущениям и возможным симптомам, решив, что огрызок тот у телефона точно рассадник страшной половой заразы, и теперь Ирка-сучка всю семью под нож... Мужу

ничего, конечно, не говорила, страдала одна. Но пронесло, никто так и не узнал о Полиных мучениях и опасениях.

Телефон вообще был камнем преткновения. Поля поболтать была горазда, да и Лидка дело это уважала. Разговоры у Ирки – Ираиды, то есть – были малосодержательны, но эмоционально насыщены. Говорила она редко и в основном ждала звонков от клиентов, страдала, если телефон надолго занимали, и каждый раз, когда кто-то из нашей семьи или от Печенкиных подходил к телефону, начинала представление. А как иначе – она была уверена, что именно в этот момент ей будет звонить тот самый единственный, который навсегда. Просто народная артистка! То пойдет на кухню греметь посудой, чтоб слышно ничего не было; то в ванной таз с бельем нарочно уронит и начнет причитать, чтоб ей срочно помогли; то ей деньги займы понадобятся, и ждать окончания разговора она не может; то ей дурно, и она начинает падать в обморок. В обморок она вообще обожала падать. Это был последний аргумент после мата. Если мат не помогал – подставляйте руки, народ! Вообще-то, Ирка обожала падать в обморок в очередях продуктовых магазинов, особенно если за ней стоял высокий, красивый и желателен военный мужчина. Для этого она ходила довольно далеко, в Елисейский. Там солидные, важные, при деньгах. Не в овощной лавке-то на картошку падать! А так, чтоб вынес на руках, да на Тверскую, чтоб фуражкой пообмахивал и предложил до дома довести или даже довести на авто. Да, и такое случалось. Хотя между умными и красивыми она всегда выбирала денежных. И еще у Ирки были волшебные туфли, почти как у Золушки. Только у Золушки хрустальные, а у Ирки с подпиленным каблучком, который, если под нужным углом на него встать, мгновенно подгибался, и Ирка, томно охая, падала на травку (на асфальт жестко), задрав юбку и обнажив розовую пожившую ляжку. Ей, естественно, помогали встать и провожали хромоножку домой, а там уж дело техники.

## ПЛЯСКИ НА КРЫШЕ

В общем, сосуществовали соседи как могли. Ирка бабой была не злой, компанейской и необидчивой, но и хулиганистой, как выпьет. А если уж выпивала, то начинала безобразить не по-детски. Однажды пригласила кого-то к себе в комнатушку, а кого, никто и не увидел – все по делам разошлись, а как вернулись, то весь подвал уже ходил ходуном: стены тряслись, дым стоял коромыслом и в прямом и в переносном смысле, бутылки валялись по всему коридору, лампочка при входе была разбита. Ароша стал стучать к ней, призывать к порядку, но из комнаты раздавалось одно сплошное мычание, шел запах дыма и чего-то горелого. Ароша с Серегой поднажали молодецкими плечами и ввалились в комнату вместе с дверью. Компания в комнате была голая и изысканная – блядь и два пожарника. Мужики держались за Ирку и за бутылку, а на голове у них медью горели до блеска начищенные каски, в которых отражались охреневшие Ароша и Серега и подоспевшая на помощь Поля. Пожарники, устроившие в чужой квартире задымление, были изгнаны из подземелья во двор в чем мать родила, Ирка, успев схватить только газовый легкий шарфик, бросилась за ними как лань, видимо, функции свои пожарные они выполняли исправно. Но заваруха на этом не закончилась. Ароша погасил тлеющую тряпку, которая занялась от сигареты пожарников, собрал разбросанную в похотливом порыве форму и вышел, чтобы вынести ее мужикам, но у дома их не нашел. Ночь стояла лунная, июньская. Где-то вдали у прудов лаяли собаки, а где-то наверху, на ночной крыше их круглого дома, топали и матерились голые мужики с Иркой. Они трогательно бегали друг за другом, гремя на всю Москву жестью, озорно шутили, пьяно хохотали и совершенно не желали спускаться вниз. Фигуры трех обнаженных людей, перескакивающих с крыши на крышу, диковинно и эротично смотрелись на фоне большой желтой луны. Иногда салочки заканчивались соитием с завыванием, Ирка театрально извивалась, потом игриво вырывалась, и мужики в шлемах и с приборами наперевес бежали за ней дальше. Вскоре во двор начали выползать

разбуженные жутким грохотом жители, кто в одеяле, кто с ребенком на руках, кто в исподнем. Все заворуженно стояли посреди двора на месте памятника Льву Толстому, которого тогда еще в помине не было, и, задрав головы вверх, смотрели кино под названием жизнь. И в общем-то, никто тогда особо не останавливал пожарников с блядью, лишь тихо между собой переговаривались и высказывали опасение, что дело те затеяли рискованное, но вполне зрелищное и романтическое. А Ирка, осознав пьяным мозгом, что народ ее совсем даже не гонит, а хочет зрелищ, стала танцевать что-то из «Лебединого озера», изредка взмахивая легким светлым шарфиком и опираясь в неловких подержках на проверенные и налитые кровью выступающие части пожарников.

Народ внизу особо не шумел, еще помнилась необычная демонстрация не одетых людей по Поварской пару лет назад, имевших из одежды только шелковую ленту через плечо с надписью «Долой стыд!» Ходили такие стайки по Москве, даже в трамваях нагишом ездили, в рабочие столовые заглядывали, в кинотеатрах на сеансах сидели мерзли. Длилась глупость эта год или два как раз в середине двадцатых, но двором нашим поддержана не была, старейшины решили, что не по большому уму такие мысли в голову правительства приходят, что от этой распущенности один разврат идет. А людишки те голенькие, оголтелые – человек пять-шесть: две тетеньки с сумочками и проблемными фигурами да трое волосатых немых мужиков-коммунистов – просочились все-таки разок во двор, на нашу круглую территорию, и пытались объяснить несознательным гражданам, живущим обособленно, как в отдельном мире, что одежда – зло, что надо срочно отбросить ханжеские нормы морали, и дальше сыпали заученными цитатами, смешно выбрасывая руку вперед, как Ильич: «Если мужчина вожделеет к юной девушке, – и один показывал на крупную и пышную пятидесятилетнюю соседку Валентину Сергеевну, выступившую вперед с поганым ведром, – будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой...»

Этот призыв очень смешно и нелепо звучал в исполнении голого веснушчатого мужика, который по инерции изредка прикрывал свой рыжий организм. Дальше слушать оратора не стали (как он только такое сказать посмел) то из всех мусорных ведер были вывернуты ошметки и объедки, которые и полетели, как артиллерийские снаряды, в пришлые розовые тельца. Дворовый народ возмутился и взбунтовался, почувствовав угрозу тихой размеренной заборной жизни. Тут ожил и дворник, довольно долго разбиравшийся в необычной ситуации, поскольку от рождения был глухонемым, но могучим и устрашающим. Звали его Тарас, фамилия у него была звонкая – Трясило, но за глаза имя ему дали Герасим, ведь люди во дворе жили образованные и классику уважали. Тарас был из тех редких соседей, которым обычно несли резать курицу и поручали другие важные и ответственные, но малоприятные дела. Он всегда всех выручал, при этом абсолютно молча, что высоко во дворе ценилось – такие люди всегда были на вес золота. Тарас сначала и не совсем понял, что хочет ячейка голых людей, которая приперлась в его двор – то ли погорельцы, то ли блаженные, – но, увидев реакцию граждан, мешкать не стал. Он поднял под облака свою грозную огромную метлу и стал крутить ею над головой, как пропеллером, при этом ужасно вытаращив глаза и оскалив ровные крупные зубы. Разогнав застоявшийся воздух и отодвинув чужаков к забору, Тарас опустил метлу и стал спокойно и безучастно подметать у входа, направляя всю пыль на голых. Те закашлялись и отступили, не сказав больше ни слова. Осада была снята. Поэтому никакого особого фурора голая Ирка со товарищи произвести не могла, разве что жителей на этот раз привлекла «высокохудожественная» часть в самом прямом смысле слова – балет ведь проходил высоко и художественно, на крыше. После танцев Ираида, увидев, что публика не расходится, а только прибавляется, выступила с известным романсом:



Не смотрите вы так сквозь прищур своих глаз,  
Джентльмены, бароны и денди!  
Я за двадцать минут опьянеть не смогла  
От стакана холодного бренди.  
Ведь я институтка, я дочь камергера,  
Я черная моль, я летучая мышь.  
Вино и мужчины – моя атмосфера!  
Приют эмигрантов – свободный Париж...

Народ внизу смолил сигаретки, кутался со сна в одеяла, и не все понимали, то ли это восхитительный эротический сон – а такое могло только, видимо, присниться, – то ли пугающая явь. А Ирка, поводя немалыми грудями, завывала:

Мой отец в октябре убежать не успел,  
Но для белых он сделал немало.  
Срок пришел, и холодное слово: «расстрел» –  
Прозвучал приговор трибунала.  
И вот я проститутка, я фея из бара,  
Я черная моль, я летучая мышь...  
Вино и мужчины – моя атмосфера!  
Приют эмигрантов – свободный Париж...  
Я сказала полковнику: «Нате, берите!  
Не донской же валютой за это платить.  
Вы мне франками, сэр, заплатите.  
А все остальное – дорожная пыль!»  
Ведь я проститутка, я фея из бара,  
Я черная моль, я летучая мышь.  
Вино и мужчины – моя атмосфера!  
Приют эмигрантов – свободный Париж.

Ночь в нашем дворе тогда явно удалась! Мало ли, вдруг там был сам Булгаков, живший, кстати неподалеку, на Садовой, и разглядевший какой-то знакомый образ в этой голой грудастой бабе, танцующей на фоне огромной желтой луны?

Сняли троицу под утро. Тарас следил-следил зорким глазом сначала за танцами охальников, затем за тем, как Ирка стала шевелить губами (что говорила она или пела – Тарас разобрать не мог, но видел, как нравилось это жителям), но все-таки полез наверх, вдоволь насмотревшись на безобразия и поняв, наконец, что по собственной воле артисты с крыши не слезут. А то еще, не дай бог, заснут на верхотуре, да и скатятся невзначай. А отвечать кому? Ему. Полез, растащил их и по одному спустил, без травм и разрушений. Измочаленных Иркой пожарников придели и выставили за ворота, прислонив к стенке, а Ирка сразу стихла, обмякла и захотела спать. Тарас снял свой белый фартук, прикрыл ее прелести и, что-то мыча, проводил к нам в подвал. Душевный он был мужик, сколько хорошего сказать бы мог, как утешил бы, если б вообще умел говорить. Детишек любил! Своих бог не дал, так он с дворовыми тютюшкался – то воздушного змея запустит, то ландрина накупит и станет угощать, а то шарманщика во двор проведет и посадит детей вкрут, пока тот ручку крутит. До войны-то шарманщики по дворам еще ходили.

В общем, после волшебных танцев на крыше Ирка стала на какое-то время главной достопримечательностью нашего двора. Но потом слава эта подугасла, на нее уже не ходили специально посмотреть. Да и время ее зенитное заканчивалось. Залка давно растворился – то ли уехал куда, то ли в театре кого нашел помоложе. Приходящих к ней

мужиков становилось все меньше, они таяли, от них оставались одни воспоминания и лишь изредка – описанные крышки унитазов в подвальном сортире, пока, наконец, не застрял один, самый стойкий, пьющий, привязчивый и внешне не запоминающийся. «Вам не понять, – гордо говорила Ираида. – Под этой невзрачной личиной скрывается мощный эротизм!» – пыталась она хоть чем-то его оправдать. В общем, съехала вскоре Ирка к своему оставшемуся кевдышу в Замоскворечье, а комнату отдали Поле после многочисленных писем, просьб и заявлений – большой семье пошли навстречу, да и Ароша помог.

Поля победно вошла в освободившуюся жилплощадь, чтобы посмотреть, нужен ли ремонт, хотя, конечно, хотелось бы сэкономить – жили достаточно скромно, и свободных денег не водилось. Окошко Иркино было совсем маленьким и непрозрачным, заляпанным грязью и ни разу не мытым (но хоть целым, и слава богу! – отметила про себя Поля). Хотя сначала показалось, что меньше размером, но нет, это от грязи – решила она. И потолок какой-то закопченный, и запах кислятины – ничем не выветришь. Откуда так пахло, понять никак не могла и вдруг случайно дернула отошедшую грязную обоину, которая с треском обвалилась, высыпав на бедную прабабу живой источник запаха – жирные полчища клопов. Вопрос о думках про ремонт отпал сам собой: чего тут думать – без ремонта никак не обойтись. Сразу был добыт денатурат и керосин, все вымыто-вычищено и обработано, обои все сорваны, щели все заделаны (Ароша постарался). Но и после ремонта Поля всегда аккуратно раскладывала под кроватью пижму, а матрас обрабатывала валерианкой, в общем, делала всё, чему научили во дворе. Чтобы что-то узнать, совершенно необязательно было выходить в город, искать книги, читать справочники или звонить кому-то по телефону. Достаточно было сесть на лавку в круглом дворе и вслух задать вопрос вроде как в воздух, но его тут же слышал какой-нибудь жилец – все форточки были всегда открыты, и через пару минут прабаба получала исчерпывающий ответ, а то и несколько вариантов. Поэтому на задумчивый вопрос в небо: «Интересно, а чем в наше время выводят клопов?», Поля мгновенно услышала парочку старинных семейных рецептов борьбы с этими домашними насекомыми. Комната, наконец, была очищена от подобойных кровососущих жильцов и готова к заселению. Туда и въехала Лидка, получив отдельную жилплощадь, и все, наконец, вполне удобно разместились.

## МИЛЬКА

Поля завела дружбу с двумя своими ровесницами. Одна была мощной молодящейся бальзаковской тетенькой, служившей еще при бывших хозяевах Соллогубах гувернанткой. Бальзак, конечно, был бы в ужасе, если б узнал, что таких женщин будут связывать с его именем. Милиция, все ее звали Миля, хорохорилась до смешной невозможности и мечтала, с одной стороны, умереть молодой, но с другой – как можно позже. Привыкнув, видимо, всю свою женскую жизнь держать себя в строгости, накрахмаленности и вечной борьбе с соблазнами, чтобы сохранить хорошее место при соллогубовском «дворе», Миля морально распоясалась, когда хозяева сбежали, а «двор» (придворных в смысле) после революции разогнали. И в свои 45 Миля выглядела как бандерша дешевого провинциального борделя, хотя ей самой казалось, что она неотразима и вполне строга. Она красила волосы, как подозревала Поля, луковой шелухой, поэтому просачивающаяся седина приобретала неровный желтоватый цвет старых выцветших газет (разве что без большевистских лозунгов), взбивала, как могла. Волосья, чтобы казаться еще выше своих 180, и прищипливала в середину прически бант. То, как выглядел бант, зависело от настроения, дня недели и времени года. Летом прилепляла полупрозрачный, газовый, невесомый со свисающими на ухо вялыми концами. А зимой? Какой бант может быть зимой? Только теплый – вязанный шерстяной или меховой. Причем, ближе к весне Миля начинала носить сооружения цвета молодой

зелени – чтобы приманить весну, как объясняла она, – что в феврале смотрелось диковато. Каждые выходные, когда погода позволяла уже выходить во двор без пальто, то есть с поздней весны до середины осени, Миля, во что бы то ни стало, надевала свое многолетнее длинное бордовое бархатное платье с белыми болтающимися погончиками из горностая и выходила к Поле на лавку. Сидеть откинувшись ей было неудобно – мешали крупные пуговицы из фальшивых бриллиантов на спине. Иногда Миля выносила погулять старинную зеленую, местами протертую шаль в огурцах. Устраивались они с Полей на лавке у беседки лицом к арке, в которую виден был почти весь двор, и начинали свои бабьи разговоры, слышанные-переслышанные, но каждый раз обрастающие новыми подробностями и легендами.

– Ты что, Поль, думаешь, оставили бы мне тут угол? Когда случился переворот, сюда сразу ВЧК заехало! В момент! Основные с Феликсом в Петрограде присели, а тут у нас московское отделение, стало быть, устроили. Начальник всю службу нашу бывшую собрал во дворе, все стоят, потупив глаза, словно нашкодившие дети, а я гляжу на него – вперилась прямо взглядом ему в пенсне – и понимаю: выкинет он нас всех на улицу в момент, как пить дать, даже вещи собрать не даст! И перевернулось что-то во мне, вылезла наружу какая-то потаенная свобода, ведь если не взяла бы я в тот момент ситуацию в свои руки, то она бы сама взяла меня. Выхожу спокойно из шеренги притихших баб и мужиков и иду прямо на начальника, ну я тебе рассказывала. Тот даже опешил от такой моей наглости. А я тогда еще в самом соку была, хороша, как писаная миска, хоть, конечно, увядание уже началось. Но ни одного седого волоса, ни морщины, рост мой гренадерский, грудь – всё при мне, ничего лишнего, двадцать пять давали, ей-богу! А начальник этот с голодным блеском в глазах сразу приосанился, очки поправил, ремень подтянул, рот открыл что-то сказать, а тут я ему на ухо:

– Чувствую внутреннюю зыбь вашу, товарищ начальник, нутром чувствую. Излечить берусь, – и смотрю на него так по-особенному, словно врача на больного. Он аж поперхнулся от такой неожиданности, его ж обычно боялись все и глазки прятали. А тут я во всей своей красе! Так что ты думаешь, тем же вечером ввела начальника в восторг! Ушел от меня не просто как выжатый лимон, а уже как цукат, не побоюсь этого слова! В общем, связь ту скоротечную описывать не буду, главное, выделил он мне комнатку в поварской бывшей и документы даже успел оформить. Но их вскоре всем кагалом на Лубянку перевели, им тут, видишь ли, удобств было мало для борьбы с террором, или с чем там они боролись, – ни одного каземата, ничего такого, кроме подвалов наших, вот работа и не пошла...

Улица наша с легкой руки Милиции стала зваться Поварской-Воровской, когда в конце 30-х у нее увели одеяло и две пуховых подушки, теплые еще, промятые дородным женским ночным телом, не застеленные пока и брошенные хозяйкой только-только на кровати. Миля, хорошенько потянувшись, заскрипела пружинами, встала, чтоб открыть настежь окно (на ночь не открывала – опасалась: первый этаж все-таки). Выглянула, вдохнула густого последождяного утреннего воздуха, пощурилась на солнце и, ничего интересного на улице не увидев, пошла по своим туалетным делам. Потом вернулась довольно быстро – чего там: лицо ополоснуть, глазоньки промыть ото сна, зубы порошком наполировать, благо все свои пока, папильотки снимать, локоны настропалить, да бант выбрать из большой коллекции. Ну и тело прикрыть утренним халатом в розах. Пришла в комнату, что-то щебеча, а вместо постели ее белой, льняной, с вышивкой гладью, объемистой, с белым по белому вензельками увидела полосатый ватный матрас, грустный и с пролежнями в районе задницы. Всплеснула руками и застыла посреди своей надруганной спальни. Что теперь делать-то! А потом как заорет попугайным голосом на всю улицу: «Спасите! Помогите! Насилуют! Пожар! Скореееееей! Ааааааа!»

Через минуту уже стали ломиться в дверь, но Миля стояла непоколебимо в центре комнаты и крепко обеими руками держалась за лицо. Дверь попрыгала от напора с той стороны и затихла, но через мгновение в окне появилась испуганное, но решительное лицо Тараса; видно было, что он готов на все, хоть и не понимал, на что именно. В руке он держал дымящийся чайник – то ли решил тушить пожар на случай пожара, то ли заливать насильника на случай случки. Когда Миля увидела в окне Тараса, она, поначалу не узнав его, заверещала еще страшнее. Тарас перемахнул через подоконник и замычал, активно жестикулируя. Милька очухалась, перестала держаться за лицо и грузно осела на дощатый пол. Села на пол, вытянув перед собой голые ноги в синих жилках, и начала причитать:

– Ах ты, хмыстень сучий! Ведь надругаться ж мог! А если б я не вышла из комнаты, а спала б еще? А если б чуток раньше из ванной вернулась? Может, застала бы вора прям здесь! Ох, страшно представить, Тарас! Чужой мужик в моей спальне! Прямо тут был! Вот на этом самом месте, где ты стоишь! – Она немного разнервничалась и разгорячилась, и было непонятно отчего: то ли от страха, что залезли к ней в комнату и украли добро, то ли от сожаления, что не надругались.

А потом нужно было слышать, как этот простецкий, в общем-то, бытовой в то время случай оброс легендами и домыслами, изощренными фантазиями и эротическими намеками. Спустя энное количество лет пожилая уже Миля называла этот эпизод не иначе как «роман в подушках», но врала красиво и, в общем-то, интеллигентно в отличие от других дворовых жителей на этот счет.

– Вхожу в спальню в неглиже (был у меня такой шелковый халатик в розах, скользящий такой, холодящий тело) и вдруг вижу его. Боже, думаю, какой красавец, как сложен... Но вслух говорю совсем другое: «Гражданин, видимо, вы ошиблись квартирой. А он высокий, черноволосый, волосы так волнисто спадают на лоб, а глаза горячие, махровые какие-то – как надо глаза, в общем... Стоит, не двигается, одет просто, но рубаха расстегнута до груди, а там соски как два розана.

– Мать моя, позорница, ты розан-то не перепутала, забыла, небось, географию! – обычно встревала Поля – это была ее роль.

– А не надо за меня волноваться, гражданочка! – продолжала свои фантазии Миля. – Сел он на мою девичью кровать, ни слова не говоря, и стал взбивать подушки.

Представляете мое изумление? Избил их до полусмерти, потом встал, все молча и молча (я сначала подумала, что глухонемой), снял пиджак, снял рубашку, медленно, длинными тонкими пальцами расстегивая пуговицы, повесил всё на фикус, как на елку, и снова сел на кровать. Положил ногу на ногу, и я увидела его воттакущий размер сапог и поняла, что мужчина он очень и очень интересный. Внутренне что-то во мне поднялось, волна какая-то, которая ни разу в жизни еще не захлестывала. А сама стою, не знаю, то ли звать на помощь, то ли сама справлюсь.

– Чего врать-то, Миль? – в разговор вступала теперь другая ее подруга, Марта, которая в этом месте рассказа старалась подтолкнуть ее на дальнейшие фантазии. – Чужой мужик лезет в окно, раздевается, а ты ни сном, ни духом не понимаешь, к чему это всё?

– Ну это было так неожиданно, я сразу не нашлась. А он сидит, гладит вышивку на простыне и ладошкой так похлопывает по кровати, глядя на меня: иди, мол, сюда. Я подошла, как во сне, он схватил мой халатик, я выскользнула, и все, дальше животные страсти! Он меня утопил в подушках, я что-то кричала, не помню уже...

– Ты кричала: «Спасите!, Пожар!», – напомнила Поля с улыбкой, добавив совсем немножко правды в бушующее вранье.

– Ох, какой же это был пожар! На помощь, конечно, можно было бы и не звать, сама легко справилась. Он потом и сам притомился, лег, закурил, говорит, подушки у вас мягкие и пышные, как ваши, дама, груди, – Миля приподняла свою грудь, хотя теперь особо хвастаться было уже нечем. – Так лежал бы на них и лежал, не вставая. А одеяло, помнящее ваше, мадам, тепло? А расшитая гладью простынка, к которой вы прижимались

всеми вашими изгибами? – Я думаю, а что ж мужичку не сделать приятное за приятное? Завернула всю постель в простыню и отдала на память.

– А чего ж кровать-то пожалела, мать моя? – хохотнула Поля. – Она у тебя железная, модная, на колесиках, с такими видными шарами по углам, погрузила б все на нее и вперед, заре навстречу!

– Это уже был бы слишком дорогой подарок, – нашлась Миля, – а так просто сувенир. Жаль, Тарас на крики пришел, кто-то его сподобил, приняв мое возбуждение за банальность. Влез в окно и увидел весь наш шарм.